

ЭЛЛА САНД

ДОЛГ КРОВИ

ОНА ПРИШЛА СПАСТИ ОТЦА.
А СТАЛА ЕГО ЖЕНОЙ.

Элора Санд
Долг крови

«Автор»

2026

Санд Э.

Долг крови / Э. Санд — «Автор», 2026

В три часа ночи отец назвал цифру. Восемь миллионов — и месяц на возврат. Нора Савельева — ординатор-хирург, привыкшая тащить всё сама. Но восемь миллионов — не её долг. И вариантов нет. Илья Верховский держит этот долг — и репутацию человека, который не делает исключений. На встречу он согласился не затем, чтобы обсуждать реструктуризацию. «Мне нужна жена. Год. Контракт. Долг будет закрыт». Для него — сделка с дедлайном: завешание отца требует штампа до тридцати трёх лет. Для неё — обмен, в котором она точно знает цену. Контракт не предусматривал одного: год рядом с человеком, которого ненавидишь, — достаточный срок, чтобы разучиться его ненавидеть.

© Санд Э., 2026

© Автор, 2026

Элора Санд

Долг крови

Глава 1

«Долг»

POV: Нора

Нора

Телефон зазвонил в три часа ночи.

Нора вынырнула из сна, как из чёрной воды — рывком, с колотящимся сердцем и привкусом железа на языке. Секунду она лежала неподвижно, вслушиваясь в темноту съёмной однушки на Бауманской, и пыталась понять: это ещё больница или уже дом. Потолок без люминесцентных ламп. Запах не антисептика, а старой штукатурки и остывшего кофе из забытой на столе кружки. Дом.

Телефон продолжал вибрировать на полу у матраса — экран бил в глаза мертво-белым светом.

«Папа».

Нора села. Одеяло сползло с плеч, и январский холод — батареи в этом доме грели так, словно извинялись за своё существование — тут же пробрался под тонкую футболку. Она провела ладонью по лицу, стирая остатки сна, и приняла вызов.

— Пап?

Тишина. Не пустая — живая, наполненная чем-то вязким и тяжёлым. Нора слышала его дыхание: неровное, с присвистом, как будто он долго бежал. Или долго плакал.

— Пап, ты меня слышишь?

— Нора. — Голос отца был странным. Не пьяным — она знала, как звучит пьяный, до мельчайших оттенков, потому что два года после смерти мамы он звучал именно так. Нет, сейчас Геннадий Савельев был абсолютно трезв. И это пугало сильнее. — Норочка, мне нужно... Я должен тебе кое-что сказать.

Она уже стояла. Ноги нащупали ледяной линолеум, и Нора машинально сунула их в разношенные тапки у кровати — серые, с облезлым рисунком совы, купленные три года назад в «Фикс Прайсе» и пережившие две съёмные квартиры, ординатуру и десятки ночных дежурств.

— Что случилось? Ты в порядке? Где ты сейчас?

— Дома. Я дома, всё... — Пауза. Глубокий вдох, такой, какой делают пациенты, прежде чем сказать врачу то, о чём молчали месяцами. — Нора, я должен людям деньги. Много денег. И они... пришли за ними.

Нора замерла посреди комнаты. Кружка с остывшим кофе стояла на подоконнике — тёмный силуэт на фоне фонарного света, сочившегося сквозь незадёрнутые шторы. Московская ночь за окном жила своей жизнью: где-то внизу прошуршала машина по мокрому асфальту, скрипнула дверь подъезда, глухо залаяла собака. Мир не изменился. Но Нора уже чувствовала — физически, кожей, как чувствуют перемену давления перед грозой, — что через секунду всё станет другим.

— Сколько? — спросила она.

Отец назвал цифру.

Нора медленно опустилась на край матраса. Пружины жалобно скрипнули — звук, который она слышала каждое утро и каждый вечер, настолько привычный, что мозг давно перестал его регистрировать. Сейчас он прозвучал оглушительно.

Восемь миллионов рублей.

Её зарплата ординатора — сорок семь тысяч. До вычета налогов. Она посчитала машинально, на автомате, как считала дозировки препаратов на дежурстве: сто семьдесят месяцев. Четырнадцать лет — без еды, без аренды, без жизни. Просто четырнадцать лет выплат.

— Кому? — Голос вышел ровным. Хирургический голос. Голос, которым она говорила с родственниками пациентов, когда новости были плохими: спокойно, чётко, без дрожи. Дрожать можно потом, в ординаторской, над стаканом воды из кулера, когда никто не видит. — Кому ты должен, папа?

Долгое молчание. Потом — имя.

— Верховским.

Нора не знала этого имени. Не тогда. Потом она будет знать его так хорошо, что оно выжжется на изнанке век, как послеобраз от вспышки, — но в ту январскую ночь, сидя на скрипучем матрасе в промёрзшей однушке, она просто повторила:

— Верховским. Кто это?

Отец рассказывал сбивчиво, путано, перескакивая с одного на другое, — и Нора слушала, прижав телефон к уху так, что пластик впивался в кожу, и по кусочкам собирала картину, от которой хотелось не кричать — выть.

Всё началось четыре года назад. Мама умерла, и отец — талантливый, мягкий, абсолютно непригодный для реальной жизни Геннадий Савельев, инженер-конструктор, который умел проектировать мосты, но не умел проектировать собственное будущее, — остался один. С ипотекой, которую они с мамой брали вместе. С кредитом на её лечение, который не успели закрыть. С пустой квартирой, пахнувшей лекарствами и полынным чаем, который мама пила до последнего дня, потому что верила, что он помогает.

Он не пил. Нора ошиблась — он не пил, он занимал. Это было хуже.

Первый кредит — в банке, на закрытие ипотечного долга. Второй — у знакомого, под проценты, «на полгода, Геночка, какие проблемы». Третий — уже не у знакомого. У людей, которых ему порекомендовали, когда банк отказал, а знакомый потребовал вернуть с процентами, которые за полгода выросли вдвое.

— Я думал, справлюсь, — говорил отец глухо, и Нора слышала в его голосе то, что слышала у пациентов на грани: не страх — стыд. Густой, чёрный, выедающий человека изнутри, как кислота. — Думал, получу проект, заработаю, верну. Но проект закрыли. А проценты... проценты не закрылись.

Долг переходил из рук в руки, как инфицированная кровь, обрастая процентами, штрафами, угрозами. И в конечном счёте осел у людей, связанных с покойным Верховским-старшим — Вячеславом Андреевичем Верховским, чьё имя, как потом узнает Нора, в определённых кругах произносили так же, как в больнице произносят «четвёртая стадия»: тихо, с финальной интонацией.

Верховский-старший умер пять лет назад. Но его люди остались. И долги, записанные в его книгах, — тоже.

— Они приходили сегодня, — сказал отец. — Двое. Вежливые. В костюмах. Один даже извинился, что поздно. Сказали: у меня месяц. Если не верну — квартира. А если квартиры не хватит...

Он не закончил. Не смог.

Нора закрыла глаза.

За стеной сосед включил телевизор — глухо, на минимальной громкости, но в четыре утра любой звук разносится, как по пустому операционному залу. Бубнящий голос ведущего, обрывки рекламы. Мир продолжал вращаться, равнодушный и бесконечный, и Норе захотелось ударить кулаком в стену — не от злости на соседа, а от бессилия. От понимания, что она — двадцатичетырёхлетний ординатор с сорока семью тысячами зарплаты и долгом за обучение,

которого хватит ещё на три года выплат, — ничем не может помочь единственному человеку, который у неё остался.

— Я разберусь, — сказала она.

— Норочка...

— Я разберусь, папа. Ложись спать. Утром поговорим.

Она положила трубку. Села. Посмотрела на свои руки — длинные пальцы, коротко стриженные ногти без лака, мозоль на среднем пальце правой руки от ручки, которой она строила истории болезни, — и подумала: *эти руки должны были вытащить меня. Нас обоих. А теперь...*

Нора не заплакала. Она разучилась в четырнадцать, когда мама в последний раз открыла глаза, посмотрела мимо неё — сквозь, куда-то за край, — и выдохнула так тихо, что Нора не сразу поняла. С тех пор слёзы приходили, но не прорывались: стояли где-то за грудиной, тяжёлые, горькие, и рассасывались сами, как невскрывшийся нарыв.

Вместо слёз она сделала то, что делала всегда: начала думать.

* * *

Утро пришло серым и тусклым, как всё январское в Москве — будто кто-то натянул на город мокрую марлю и забыл снять. Нора ехала в метро, зажата между мужчиной в дублёнке, пахнущей мокрой собакой, и девушкой с наушниками, из которых сочился тонкий писк чужой музыки, и прокручивала в голове то, что нашла за оставшиеся часы ночи.

Верховские.

Интернет выдал немного — но достаточно, чтобы внутри стало холодно по-настоящему, не по-январски.

Вячеслав Андреевич Верховский. Строительный магнат. Владелец холдинга «Верховский Групп» — элитная недвижимость, коммерческие комплексы, государственные подряды. Состояние — в списках Forbes его не было, но не потому, что мало: потому, что он умел не светиться. Умер пять лет назад: «скоропостижная кончина», сухая строчка в деловых изданиях, ни одного расследования, ни одного громкого некролога. Человек, который при жизни контролировал половину строительного рынка Москвы, ушёл тише, чем уходит свет в подъезде.

Трое сыновей. Старший — Илья Вячеславович Верховский, тридцать два года. Принял дела отца в двадцать семь. Фотографий в открытом доступе — три, и на всех он выглядел так, будто фотограф задолжал ему денег: тёмные волосы, жёсткое лицо с линией челюсти, по которой можно было проверять уровень, и взгляд серых глаз, от которого даже через экран телефона хотелось отвести свой.

Нора смотрела на это лицо в тряске вагона метро, и думала: вот человек, которому принадлежит долг моего отца. Вот человек, который может уничтожить единственного близкого мне человека одним звонком, одним кивком, одним движением пальца — и даже не заметит.

Ненависть — неточное слово для того, что она почувствовала. Ненависть предполагает знакомство, историю, личное. Это было другое: ледяная, кристально чистая ярость на мир, в котором одним людям достаётся всё — фамилия, деньги, власть, — а другим приходится строить себя по кирпичику, голыми руками, в пустоте, только чтобы в три часа ночи узнать, что один-единственный человек, которого ты любишь, тихо тонет четыре года, а ты не заметила.

Я не заметила. Это было хуже всего. Хуже долга, хуже цифры с шестью нулями, хуже вежливых людей в костюмах. Она — будущий хирург, женщина, которая видит то, что другие не замечают, профессионально, по десять часов в день, — не увидела, что её отец гибнет.

Поезд нырнул в тоннель, и отражение Норы в чёрном стекле посмотрело на неё в упор: тёмные круги под глазами, собранные в тугий хвост волосы, сжатые в нитку губы. Лицо человека, который принял решение.

Она позвонила после дежурства.

Не отцу. Не подруге — подруг, которым можно позвонить с таким, у неё не было, потому что ординатура, работа, выживание — всё это оставляло время на сон и еду, но не на людей. Нора позвонила по номеру, который нашла на сайте «Верховский Групп», в разделе «Приёмная генерального директора».

Трубку сняли после второго гудка.

— Приёмная Ильи Вячеславовича. — Женский голос: идеально поставленный, идеально нейтральный, как хирургический скальпель — ничего лишнего, только функция.

— Меня зовут Нора Савельева. — Она стояла в больничном коридоре, прислонившись спиной к стене у окна. За окном — парковка, серый снег, «скорая» с выключенными мигалками. Обычный день. — Мне нужно поговорить с Ильёй Вячеславовичем. Лично.

Пауза. Короткая, но красноречивая — пауза человека, который за день отшивает десятки звонков и умеет делать это элегантно.

— По какому вопросу?

— По вопросу долга Геннадия Савельева.

Пауза стала длиннее. Нора слышала, как на том конце нажали кнопку отключения микрофона — щелчок, тишина, потом снова щелчок.

— Илья Вячеславович сможет принять вас завтра в шестнадцать часов. Адрес продиктовать?

Нора записала адрес на тыльной стороне рецептурного бланка — единственном, что оказалось под рукой. Почерк был ровным: она не позволила руке дрогнуть.

* * *

Офис «Верховский Групп» располагался в Москва-Сити, и одного этого было достаточно, чтобы Нора почувствовала себя не на своём месте задолго до того, как переступила порог. Она вышла из метро на «Деловом центре» и задрала голову: стеклянные башни упирались в низкое зимнее небо, отражая в своих гранях серые облака и друг друга — бесконечный зеркальный лабиринт денег, амбиций и власти, в котором ей нечего было делать.

Но она шла.

На ней было лучшее, что нашлось в шкафу: чёрные брюки — единственные без катышков, — белая рубашка, которую она купила на собеседование в ординатуру два года назад и с тех пор надевала четыре раза, и пальто — тёмно-серое, чуть великоватое в плечах, потому что оно было мамино. Нора носила его пятый год. Воротник давно обтрепался, подкладка разошлась по шву на спине, но пальто пахло — нет, конечно, уже не пахло. Она знала это. Но каждый раз, надевая его, Нора на секунду закрывала глаза и вдыхала — и ей казалось, что где-то там, в глубине ткани, ещё жив мамин запах: полынный чай и ваниль.

Ресепшн на сорок втором этаже был больше, чем вся её квартира. Мрамор, стекло, приглушённый свет и запах, которого Нора не смогла идентифицировать — что-то дорогое, ненавязчивое, из тех ароматов, которые нельзя купить в обычном магазине. За стойкой сидела девушка, выглядевшая так, словно её напечатали на 3D-принтере по лекалам идеальной секретарши: безупречная укладка, безупречный макияж, безупречная улыбка.

— Нора Савельева, — сказала Нора. — Мне назначено на четыре.

Девушка сверилась с планшетом — жест, который выглядел скорее ритуальным, чем необходимым: было совершенно очевидно, что она прекрасно знала, кто пришёл и зачем.

— Конечно. Пройдёмте, я провожу.

Коридор. Стекло и тёмное дерево, картины на стенах — не репродукции, оригиналы, Нора видела маленькие таблички с именами художников и датами. Один Кандинский. Один — кого-то, чьё имя она не разобрала. Стоимость одной этой картины, вероятно, могла бы закрыть долг отца и купить ему новую квартиру в придачу.

Не думай об этом. Не сейчас.

Секретарша остановилась перед двойными дверями из тёмного дерева, постучала коротко — два удара, больше обозначение, чем вопрос, — и открыла.

— Нора Геннадьевна Савельева.

Кабинет был огромным и почти пустым: панорамные окна от пола до потолка, за которыми Москва лежала, как макет — маленькая, аккуратная, послушная. Массивный стол тёмного дерева, на нём — ноутбук, стакан воды, ни одного лишнего предмета. Два кресла для посетителей. Книжные полки вдоль одной стены — и книги на них стояли не для декора: корешки были потёрты, некоторые — с закладками.

И — он.

Илья Верховский поднялся из-за стола, и первое, что подумала Нора, было: *фотографии ввали*. Не потому, что он выглядел иначе — нет, тёмные волосы, резкие скулы, серые глаза, всё совпадало. Фотографии ввали, потому что не передавали главного: того, как он занимал пространство. Не размерами — ростом он был высок, но не гигантски. Присутствием. Он стоял в центре этого кабинета так, как будто гравитация в комнате перестроилась вокруг него, и всё остальное — мебель, свет, город за окном, сама Нора — стало периферией.

Костюм — тёмно-серый, безупречно сидящий, застёгнутый на все пуговицы. Ни галстука, ни запонок — единственные уступки неформальности, которые делали его не менее, а более пугающим: человек, которому не нужны атрибуты власти, потому что власть — это он сам.

Он смотрел на неё.

Нора выдержала этот взгляд — и это стоило ей усилия, которого она никогда не признает. Взгляд Ильи Верховского был как скальпель: холодный, точный, рассекающий до кости. Он не рассматривал её — он считывал: одежду, осанку, выражение лица, руки — всё, по чему можно понять о человеке больше, чем тот хочет показать. Нора знала этот приём: она сама так смотрела на пациентов, когда те говорили «всё хорошо», а тело говорило иное. Но она смотрела так, чтобы помочь. А он — чтобы понять, как использовать.

— Садитесь, — сказал он.

Не «здравствуйте». Не «рад знакомству». Не «чай, кофе?» Одно слово — и в нём ровно столько любезности, сколько в кивке хирурга операционной сестре: функция, не вежливость.

Нора села. Кресло было до неприличия удобным — из тех, в которых хочется утонуть и забыть, зачем пришла. Она не утонула. Выпрямила спину, положила руки на подлокотники и посмотрела на него снизу вверх — потому что он не сел: стоял, прислонившись к краю стола, и смотрел на неё с высоты полного роста.

Силовой приём, — подумала Нора. — *Стоять, когда собеседник сидит. Занимать верхнюю позицию. Контролировать.*

Она знала это не из книг по психологии — из больницы. Завотделением Краснов делал так же: вставал над ординаторами и говорил тихо — тише, чем нужно, заставляя вслушиваться, наклоняться, подчиняться позой, прежде чем подчиниться словами.

— Геннадий Александрович Савельев, — сказал Илья Верховский. Не спросил — констатировал. — Долг перед структурами моего отца. Восемь миллионов двести тысяч с учётом текущих процентов.

Двести тысяч сверху. Нора стиснула пальцы на подлокотнике — и тут же разжала. Не показывать. Ничего не показывать.

— Да, — сказала она. — Я здесь, чтобы обсудить условия реструктуризации.

Слово «реструктуризация» она выучила вчера ночью, в перерыве между статьями о Верховских и попытками уснуть. Оно звучало солидно. Профессионально. Взросло — так, будто она имела хоть какое-то представление о том, как работают долги такого масштаба.

Верховский чуть наклонил голову — движение, которое могло означать интерес, а могло — снисхождение. Нора не смогла прочитать.

— Реструктуризацию, — повторил он. И замолчал.

Молчание длилось четыре секунды. Нора считала — привычка с операционной, где каждая секунда имеет вес. Четыре секунды — достаточно, чтобы большинство людей начали нервничать, заполнять тишину словами, оправданиями, просьбами. Он это знал. Он этого ждал.

Она молчала пять.

Что-то едва уловимое изменилось в его лице. Не выражение — скорее, фокус. Как будто он впервые *увидел* её, а до этого — сканировал.

— Нора Геннадьевна, — сказал он. — Ваш отец должен восемь миллионов людям, которые не принимают извинений. Вы — ординатор второго года в институте Склифосовского с зарплатой, которой не хватит на то, чтобы покрыть месячный процент по этому долгу. У вас нет имущества, нет накоплений, нет поручителей. — Он говорил это ровно, без нажима, без удовольствия, как диктор зачитывает прогноз погоды: безлично, точно и неумолимо. — Какую именно реструктуризацию вы хотите обсудить?

Каждое его слово попадало точно. Как пули — в яблочко, одна за другой, без единого промаха. Нора чувствовала, как внутри поднимается знакомая волна — горячая, тёмная, яростная, — и сжала её в кулак. Не здесь. Не перед ним.

— Я хочу обсудить варианты, — сказала она, и голос не дрогнул. — Рассрочку. Частичное погашение. Любую схему, при которой мой отец остаётся в безопасности, а долг закрывается — пусть долго, пусть трудно, но закрывается.

— Вариантов нет.

Просто. Тихо. Окончательно.

— Вячеслав Андреевич при жизни мог бы пойти навстречу. Теоретически. — Верховский скрестил руки на груди. Шрам на костяшках правой руки — белый, рваный, старый — мелькнул из-под манжеты и снова исчез. — Я — не мой отец. И долги моего отца перешли мне вместе с его бизнесом. Если я прощу один — мне принесут ещё двадцать. Прецедент.

— Мой отец — не прецедент, — сказала Нора. Злость всё-таки прорвалась — тонкой, жёсткой нотой, как трещина в стекле. — Мой отец — человек, который запутался. Который совершил ошибку. Одну.

— Четырнадцать.

Она замерла.

— Что?

— Четырнадцать, — повторил Верховский. Он поднял со стола тонкую папку — Нора не заметила её раньше, бежевый картон на фоне тёмного дерева — и раскрыл. — Четырнадцать займов за четыре года. В шести различных структурах. С нарастающим процентом. Ваш отец не «совершил одну ошибку», Нора Геннадьевна. Он выстроил систему из ошибок. Я не говорю это, чтобы причинить вам боль. Я говорю, чтобы вы понимали масштаб.

Он протянул ей папку. Нора взяла — пальцы не дрожали, она не позволила — и открыла. Цифры. Даты. Подписи отца — мелкий, суетливый почерк, который она узнала бы из тысячи. Четырнадцать договоров. Четырнадцать раз её отец садился напротив кого-то, брал ручку и подписывал приговор — себе и ей.

Я не знала. Четыре года — и я не знала.

Она закрыла папку. Положила на стол. Посмотрела Верховскому в глаза.

— Хорошо. Вариантов нет. — Она услышала собственный голос как будто со стороны — низкий, чужой, звенящий от напряжения, как струна, которую перетянули. — Тогда зачем вы согласились на встречу?

И вот тогда произошло то, чего Нора не ожидала.

Илья Верховский замолчал. Не тем рабочим молчанием, которым давил в начале разговора, — другим. Он отвёл взгляд. На секунду — всего на секунду, — но Нора поймала: его глаза метнулись к панорамному окну, за которым Москва плыла в морозной дымке, и в этих

глазах мелькнуло что-то, что не вписывалось в образ идеального хищника. Что-то похожее на усталость. Или — на внутреннюю борьбу.

Потом он снова посмотрел на неё. Серые глаза — стальные, непроницаемые, как бронированное стекло.

— Потому что у меня есть к вам предложение, — сказал он. — Не к вашему отцу. К вам. Нора не двинулась.

— Мне нужна жена, — сказал Илья Верховский.

Тишина была такой густой, что в ней можно было утонуть. Нора слышала собственный пульс — ровный, быстрый, как метроном на ускоренном темпе. Она слышала гул вентиляции в потолке — мягкий, дорогой, почти неслышимый, но в этой тишине — оглушительный.

— Что? — сказала она.

И ненавидела себя за это «что» — растерянное, глупое, обывательское. Она пришла сюда с прямой спиной и хирургическим голосом, а он вышиб из-под неё опору одной фразой.

Верховский не повторил. Он сказал другое — медленно, размеренно, как объяснял бы инвестору условия сделки:

— По завещанию моего отца, контрольный пакет акций холдинга переходит мне при условии вступления в официальный брак до тридцати трёх лет. Мне тридцать два. Через пять месяцев и двенадцать дней мне исполнится тридцать три. Если к этому моменту я не женат — пакет уходит совету директоров.

— И какое отношение это имеет ко мне? — Нора уже знала ответ. Знала — и всё равно хотела, чтобы он произнёс это вслух, каждое слово, чтобы она могла ненавидеть его осознанно, прицельно, за конкретику, а не за ощущение.

— Прямое. — Он наклонился чуть вперёд — не нависая, не угрожая, но сокращая дистанцию до точки, где его голос можно было не слышать, а чувствовать. — Год брака. Формального, контрактного, с чётко прописанными условиями. Вы получаете полное списание долга отца — восемь миллионов двести тысяч. Финансовое содержание на время контракта. Отдельное жильё после развода. И сумму, достаточную, чтобы вы не думали о деньгах до конца ординатуры и три года после.

— Вы предлагаете мне... купить меня, — сказала Нора.

Она ожидала, что он отшатнётся от формулировки. Или обойдёт её — дипломатично, мягко, как обходят острые углы люди, привыкшие к переговорам. Он не сделал ни того, ни другого.

— Да, — сказал Илья Верховский. — Именно это я предлагаю.

Нора встала. Кресло откатилось назад — бесшумно, на идеальных колёсиках по идеальному паркету. Она стояла перед ним, и разница в росте — он на голову выше, нет, больше — давила, но она не отступила. Не опустила глаз.

— Вы... — начала она и осеклась. Потому что всё, что рвалось наружу, — «как вы смее», «вы не можете», «я вам не вещь» — было правильным, справедливым, заслуженным. И абсолютно бесполезным.

Потому что он мог.

Мог — купить. Мог — предложить. Мог — поставить перед выбором, который не был выбором, потому что на другой чаше весов лежала жизнь её отца, и они оба это знали.

Нора сделала вдох. Медленный, глубокий, как перед первым разрезом. И сказала:

— Мне нужно время.

— Неделя, — сказал он.

— Две.

Что-то дрогнуло в углу его рта — не улыбка, её тень. Намёк на то, что где-то внутри этой машины, этого безупречного механизма из стали и контроля, есть что-то, способное отреагировать на человеческое упрямство чем-то, кроме расчёта.

— Десять дней, — сказал он. — Это не торг, Нора Геннадьевна. Это арифметика. У меня есть дедлайн, и он не сдвигается.

Нора подняла со стола свою сумку — потёртая кожа, молния заедает, ручка перемотана чёрной изолентой — и перекинула через плечо. Этот жест, обычный, бытовой, почему-то вернул ей равновесие: напомнил, кто она. Не гостя в этом стеклянном аквариуме — чужая. И она хочет остаться чужой.

— Десять дней, — повторила она. — Я дам вам ответ.

Она развернулась и пошла к двери. Спина прямая. Шаги — ровные. Двадцать семь шагов до двери, она посчитала — привычка, идиотская, неистребимая: считать шаги, считать секунды, считать удары сердца, потому что цифры — это контроль, а контроль — это единственное, что у неё осталось.

— Нора.

Она остановилась у двери. Не обернулась.

Его голос за спиной — низкий, ровный, без нажима:

— Ваш отец — хороший человек, который принимал плохие решения. Я это вижу. Но хорошие люди с плохими решениями — это именно те, кого раздавливают первыми.

Нора обернулась.

Илья Верховский стоял в той же позе — у стола, руки скрещены, лицо непроницаемое. Но в его глазах — в самой глубине, там, куда нужно было смотреть долго и пристально, как в хирургический микроскоп, — Нора увидела нечто, что не поддавалось классификации. Не жалость — он не был способен на жалость, это было очевидно. Не сочувствие — слишком мягкое слово для человека с таким лицом. Что-то третье. Узнавание, может быть. Как будто он знал, каково это — нести чужой вес.

— Подумайте, — сказал он. — Хорошо подумайте.

Нора вышла. Дверь закрылась за ней бесшумно — даже двери в этом мире были вышколенными, послушными, не смели хлопнуть.

Она прошла мимо секретарши, не видя её. Вышла в коридор. Дошла до лифта. Нажала кнопку. Двери разъехались, она шагнула внутрь, и только когда створки сомкнулись, отрезая её от сорок второго этажа, от панорамных окон и запаха дорогого дерева, от серых глаз, которые видели слишком много, — только тогда Нора прислонилась спиной к зеркальной стене лифта и закрыла глаза.

Её руки дрожали.

Она сжала их в кулаки — сильно, до белых костяшек, до полумесяцев ногтей в ладонях, — и стояла так все сорок два этажа вниз, считая удары сердца, которые отказывались подчиняться.

Вы выйдете за меня, Нора Геннадьевна. Потому что выбора у вас нет.

Он не произнёс этих слов. Но Нора слышала их так отчётливо, будто он стоял рядом, и его голос — низкий, ровный, неумолимый — звучал не снаружи, а изнутри, в том месте, где страх и ярость сплетаются в узел, который невозможно развязать.

Двери лифта открылись в вестибюль.

Нора вышла в московский январь — в серый свет, в мокрый снег, в толпу, в реальность, где ей принадлежали тридцать квадратных метров на Бауманской, скрипучий матрас, потёртое мамино пальто и десять дней.

Десять дней на решение, которое уже было принято.

Глава 2

«Условия»

POV: Илья

Илья

Она ушла, и кабинет стал больше.

Илья стоял у стола — там же, где стоял последние двадцать минут, — и смотрел на закрытую дверь. Тёмное дерево, латунная ручка, безупречная звукоизоляция: он не слышал её шагов в коридоре, не слышал, как разъехались двери лифта, не слышал ничего, кроме гула вентиляции и собственного дыхания, которое почему-то сбилось с привычного ритма.

Он разжал руки. Скрещённые на груди — силовая позиция, базовая переговорная тактика, он использовал её сотни раз, не задумываясь, как не задумываются о том, на какую ногу ступить первой. Сейчас мышцы предплечий ныли — он держал эту позу слишком жёстко. Слишком напряжённо для того, кто контролирует ситуацию.

Потому что ты её не контролировал.

Илья сел за стол. Отодвинул ноутбук. Взял стакан воды — она была комнатной температуры, он любил холодную, но забыл попросить заменить, потому что перед встречей перечитывал досье на Савельеву и думал о другом.

Досье лежало в верхнем ящике стола — тонкая папка, гораздо тоньше, чем на её отца. Нора Геннадьевна Савельева, двадцать четыре года. Окончила Первый мед с красным дипломом. Ординатура в Склифосовского — хирургия, второй год. Характеристики от заведующего: «исключительные мануальные навыки, выдающаяся стрессоустойчивость, сложный характер, не рекомендуется назначать в пару с Красновым — конфликт». Съёмная квартира на Бауманской, тридцать один квадратный метр, аренда — двадцать восемь тысяч в месяц. Ни машины, ни собственности, ни сбережений. Мать — умерла (рак лёгких, ремиссии не было). Отец — Геннадий Александрович Савельев. Четырнадцать займов.

Стандартное досье. Он заказывал такие десятками — на партнёров, на конкурентов, на подрядчиков, на любого, кто входил в его орбиту. Сухие факты, цифры, хронология. Обычно этого хватало, чтобы составить точную рабочую модель человека: кто он, чего хочет, чем можно надавить, за что зацепить.

Досье Норы Савельевой не работало.

Потому что между строчками — «красный диплом», «стрессоустойчивость», «двадцать восемь тысяч за аренду» — не помещалось то, что он увидел двадцать минут назад: девушку в мамином пальто с обтрёпанным воротником, которая села в кресло напротив него, посмотрела ему в глаза и *выдержала*.

Это было... неожиданно.

К нему приходили разные люди. Просители — с потными ладонями и бегающими глазами. Партнёры — с заученными улыбками и калькуляцией в каждом жесте. Враги — с напускной уверенностью, за которой он безошибочно различал страх. Все они делали одно и то же: пытались понять, что он хочет услышать, и дать ему именно это. Это было рационально. Это было разумно. Это было правильной стратегией в переговорах с человеком, который держал все карты.

Нора Савельева не пыталась.

Она пришла в потёртом пальто — не потому что не знала, куда идёт, а потому что это было всё, что у неё было, и она отказалась притворяться, что это не так. Она села в кресло и не утонула — выпрямилась, как на хирургической табуретке. Она посмотрела на него и не отвела глаз. И когда он произнёс слово «купить» — проверяя, тестируя, замеряя реакцию, как инженер замеряет прочность материала на излом, — она не вздрогнула. Нет: она *загорелась*. Тёмным, яростным, почти осязаемым пламенем в карих глазах, и на долю секунды ему показалось, что она сейчас ударит его — и эта секунда, эта доля была первым за месяцы мгновением, когда Илья Верховский почувствовал что-то, кроме усталости.

Он отпил воды. Поставил стакан. Провёл пальцем по краю — ровный, гладкий, без единого дефекта, как всё в этом кабинете, как всё в его жизни, тщательно отполированное до состояния, в котором не за что зацепиться.

Прекрати.

Илья открыл ноутбук. Письма — шестнадцать непрочитанных за двадцать минут, стандартная интенсивность. Отчёт от юридического: проект брачного контракта, третья редакция, ожидает утверждения. Сообщение от Дмитрия — одно слово: «Ну?» — и эмодзи с поднятой бровью. Илья закрыл сообщение, не ответив.

Дмитрий.

Средний брат знал о плане — потому что скрыть от Дмитрия что-либо было невозможно. Не потому, что Дмитрий был проницателен — хотя был, гораздо проницательнее, чем показывал, — а потому, что он обладал сверхъестественной способностью оказываться именно там, где не нужно, и задавать именно те вопросы, которые Илья задавать себе отказывался.

«Ты собираешься жениться на незнакомой девушке, чтобы выполнить условие из завещания мертвеца, которого мы оба ненавидели?» — спросил Дмитрий две недели назад, сидя в кресле того же кабинета, где сейчас сидел Илья. Ноги на столе — длинные, в безупречно отглаженных брюках. стакан виски в руке — в три часа дня, но Дмитрий умудрялся пить так, будто это не проблема, а стиль жизни. «Я правильно понимаю суть плана?»

«Не «ненавидели», — ответил Илья. — Не говори за меня.»

«Хорошо. Которого я ненавидел, а ты — что? Уважал? Боялся? Подражаешь?» Дмитрий улыбнулся — той улыбкой, которая у других людей означала бы дружелюбие, а у Дмитрия Верховского означала, что он нащупал больное место и не собирается отступать. «Илюш, послушай меня. Я понимаю про пакет. Я понимаю про совет директоров. Но есть пятьсот способов решить эту проблему, и «фиктивный брак с дочерью должника» — примерно четыреста девяносто девятый по степени здравомыслия.»

«Назови первый.»

Дмитрий посмотрел на него — долго, без улыбки, без иронии, с тем выражением, которое появлялось на его лице раз в год, если повезёт, — и сказал: «Отпустить. Продать пакет. Забрать деньги. Жить.»

«Нет.»

«Почему?»

Потому что это всё, что у меня есть. Илья не произнёс этого вслух. Не тогда. Не Дмитрию — хотя Дмитрий, вероятно, и так услышал: он умел слышать то, что не говорят, — это было его оружие и его проклятие.

Илья закрыл крышку ноутбука.

«Потому что» не было простым. Оно никогда не было простым — не с тех пор, как пять лет назад он стоял в этом же кабинете, только стол тогда принадлежал не ему, а человеку, который сидел за ним двадцать три года. Кожаное кресло ещё хранило форму его тела — вмятину на спинке, потёртости на подлокотниках. На столе стояла фотография: мать, молодая, счастливая, в белом платье — та фотография, которую отец держал на виду, хотя к тому моменту они не разговаривали уже четыре года, а мать пила так, что врачи перестали прятать диагнозы за эвфемизмами.

Вячеслав Андреевич Верховский умер в этом кресле. «Скоропостижно» — слово, которое в свидетельстве о смерти означало «мы не хотим разбираться». Сердечный приступ в пятьдесят семь лет — у человека, который проходил полное медицинское обследование каждые три месяца и ни разу не получил заключения хуже, чем «практически здоров».

Илья не верил.

Не верил пять лет — молча, упрямо, непоколебимо, как не верят в диагноз, пока не увидят результаты биопсии собственными глазами. Он нанял трёх независимых экспертов. Первый подтвердил официальную версию. Второй — тоже. Третий — самый дорогой, бывший судмедэксперт из Израиля — написал заключение на четырнадцать страниц, суть которого сводилась к двум фразам: «Клиническая картина не противоречит инфаркту миокарда. Клиническая картина также не противоречит введению калия хлорида в летальной дозе, при усло-

вии, что тело было кремировано в течение сорока восьми часов и токсикологическое исследование не проводилось.»

Тело было кремировано через тридцать шесть часов. Токсикологическое исследование не проводилось. Распоряжение о кремации подписал — Илья проверял — Виктор Леонидович Холмогоров, деловой партнёр и душеприказчик.

Душеприказчик.

Илья встал из-за стола. Прошёл к окну — панорамному, от пола до потолка, за которым Москва раскинулась, как игровое поле: шахматная доска из улиц, площадей, денег и людей, которые думают, что играют сами, не подозревая, что фигуры расставлены давно и не ими. Он стоял у этого окна каждый вечер — не потому, что любил вид, а потому, что в стекле отражался кабинет за его спиной, и он мог видеть одновременно и город, и комнату: контролировать оба пространства. Привычка, ставшая рефлексом.

Завещание отца — его последний ход, посмертный, просчитанный с той же безжалостной точностью, с которой Верховский-старший просчитывал всё при жизни: сделки, людей, собственных сыновей. Контрольный пакет — пятьдесят один процент акций «Верховский Групп» — переходит старшему сыну при вступлении в *официальный брак до достижения тридцати трёх лет*. Не гражданский. Не сожительство. Штамп в паспорте, кольцо на пальце, запись в реестре.

Зачем? Илья задавал себе этот вопрос пять лет и знал ответ: потому что отец хотел контролировать его даже после смерти. Потому что для Вячеслава Верховского семья была не ценностью — инструментом, и он хотел убедиться, что Илья построит свой инструмент так, как положено: с женой, с фасадом, с контрактом на размножение. Любовь в этой схеме не предусматривалась — как не предусматривалась она в браке самого Вячеслава Андреевича, женившегося на матери Ильи ради объединения активов двух семей.

Мать Ильи — Елена Сергеевна Верховская, урождённая Астахова — была красивой женщиной. Илья помнил это: помнил тёмные волосы, собранные в высокую причёску, помнил запах её духов — что-то цветочное, тёплое, из тех ароматов, что остаются на ткани дни и недели после того, как человек ушёл. Помнил её смех — редкий, мягкий, всегда чуть удивлённый, будто она сама не ожидала от себя способности радоваться.

Потом смех исчез. Потом исчезли духи, причёска и та женщина, которую он помнил. Остался призрак в халате, пахнувший вином и снотворным, бродивший по гигантскому дому в Барвихе в четыре утра и разговаривавший с портретами на стенах.

Она не умерла. Она жила — в том же доме, в тех же стенах, обслуживаемая штатом, оплачиваемым Ильёй, невидимая для мира и почти невидимая для собственных сыновей. Дмитрий навещал её по воскресеньям — приезжал, сидел два часа, говорил ни о чём, уезжал и напиивался. Матвей — раз в месяц, строго, как по расписанию, потому что Матвей всё в жизни делал по расписанию. Илья — нет. Илья не был у матери четыре месяца. Не потому, что не хотел. Потому что каждый раз, входя в тот дом, он видел в зеркале прихожей не себя — отца. Те же скулы. Тот же взгляд. То же лицо — лицо человека, который уничтожил женщину не кулаками, не изменами, не скандалами: равнодушием. Системным, инженерным, идеально отлаженным равнодушием.

Я не он.

Илья повторял это себе, как мантру, — не веря, но цепляясь за слова, как за поручень в вагоне метро, которым он не ездил пятнадцать лет.

Я не он. Я не стану им. Мне не нужна жена — мне нужна подпись. Контракт. Год. А потом — свобода. Для обоих.

Он вернулся к столу. Открыл проект брачного контракта — юридический отдел работал над ним третью неделю, и каждая итерация становилась длиннее предыдущей: условия, под-

пункты, оговорки, штрафные санкции. Тридцать четыре страницы. Три приложения. Нотариальное заверение в двух экземплярах.

Илья читал, и буквы плыли перед глазами — не от усталости, хотя он спал четыре часа из последних сорока восьми, а от мысли, которая зудела, как воспалённый нерв: *она не такая, как ты рассчитывал.*

Он рассчитывал на испуг. На слёзы. На торг — жалкий, хаотичный, с дрожью в голосе и мокрыми глазами. Он видел это десятки раз: люди, зажатые в угол, всегда реагировали одинаково — крошились, как штукатурка, обнажая кирпичную кладку страха. Он не наслаждался этим — не получал удовольствия от чужого унижения, как получал его отец. Но он знал, как это выглядит, и знал, как с этим работать.

Нора Савельева не раскрошилась.

Она сидела в его кресле — хрупкая, бледная от недосыпа, в рубашке, которую надевала четыре раза в жизни, — и смотрела на него так, как будто он был не хозяином этого кабинета, не владельцем долга её отца, не человеком, который мог раздавить её одним словом, — а пациентом. Которого нужно обследовать, понять и решить, стоит ли оперировать.

Это было... непривычно. Илья привык, что его боятся — или делают вид, что не боятся, что ещё хуже, потому что фальшивая храбрость читается за секунду. Нора не делала вид. Она *действительно* не боялась. Нет — она боялась, но не *его*. Она боялась ситуации, бессилия, невозможности контролировать то, что происходит с её жизнью. А его — нет. Его она ненавидела — ясно, честно, открыто, как ненавидят стихийное бедствие: не за характер, а за факт существования.

И когда она встала — одним движением, без суеты, как хирург поднимается от операционного стола, закончив работу, — Илья увидел её спину. Прямую. Узкие плечи в мамином пальто. Тёмные волосы, стянутые в хвост. И подумал — мысль была короткой, острой, как осколок: *она красивая.*

Не в том смысле, в котором были красивы женщины, которых он знал. Не в выверенном, отполированном, дорогом смысле — без укладок, без контуринга, без платьев, которые стоят как однокомнатная квартира в Подмоскowie. Красивая — как красив хирургический шов, наложенный идеально: точная, ровная, функциональная красота, в которой нет ни одного лишнего элемента.

Это не входило в план.

Илья закрыл контракт. Потёр переносицу — голова гудела, тупая, ноющая боль за правым виском, которая преследовала его последние месяцы и которую он игнорировал, как игнорировал всё, что не поддавалось контролю. Врач сказал: стресс, недосып, перенапряжение. Врач сказал: вам нужен отпуск. Илья посмотрел на врача так, что тот больше не повторил.

Телефон завибрировал. Матвей.

— Да.

— Ты разговаривал с ней? — Голос младшего брата — ровный, собранный, юридически точный, как всё, что делал Матвей. Двадцать пять лет, помощник прокурора, человек, который ложится спать в десять, встаёт в шесть и искренне верит, что закон — это не инструмент, а принцип. Илья иногда завидовал этой вере. Чаще — боялся за неё.

— Разговаривал.

— И?

— Десять дней.

Пауза. Илья слышал, как Матвей думает — не метафорически: у младшего брата была привычка постукивать ручкой по столу, когда он обдумывал, и тихий ритмичный стук был слышен даже через телефон.

— Илья. Ты уверен?

— В чём?

— Что это правильный путь.

— Я уверен, что это *единственный* путь, который укладывается в сроки.

— Это не одно и то же.

— Матвей.

— Да?

— Я не звонил тебе за моральной оценкой.

Снова пауза. Потом — тихо, без обиды, с той серьёзностью, которая делала Матвея одновременно самым простым и самым сложным из братьев:

— Я знаю. Но ты её получишь, потому что я твой брат и мне не всё равно. Эта девушка — не переменная в уравнении. Она — человек. С жизнью, которую ты собираешься перевернуть.

— Я предлагаю ей сделку, Матвей. Не приговор.

— Иногда это одно и то же.

Илья положил трубку. Не потому, что злился, — потому что Матвей был прав, и это было непереносимо.

* * *

Она позвонила на восьмой день.

Илья сидел в машине — чёрный «Мерседес», тонированные стёкла, водитель за перегородкой — и ехал с объекта на Пресне, где подрядчик сорвал сроки на три недели и где Илья провёл два часа, произнося слова, после которых подрядчик, вероятно, не будет спать следующие двое суток. За окном ползла вечерняя Москва — пробка на Садовом, красные огни стоп-сигналов, растянувшиеся в бесконечную пунктирную линию.

Незнакомый номер. Он ответил — потому что в его жизни не существовало звонков, на которые он не отвечал.

— Верховский.

— Это Нора Савельева.

Её голос был другим, чем в кабинете. Не мягче — суше. Сжатым, как пружина. Голос человека, который принял решение и ненавидит себя за него.

— Я согласна.

Два слова. Никаких «но», никаких «при условии», никаких просьб и оговорок. Сухо. Точно. Финально — как хлопок двери, которую закрыли навсегда.

Илья смотрел в окно. Фонарный свет полз по потолку салона — жёлтая полоса, медленная, ритмичная, как пульс на мониторе.

— Хорошо, — сказал он. — Завтра в десять. В моём офисе. Мой юрист подготовит контракт.

— Мне нужно быть в больнице до восьми.

— В двенадцать, — поправился он. И осёкся — мысленно, не вслух, потому что вслух Илья Верховский не осекался никогда. Он только что *подстроился*. Скорректировал своё расписание — впервые за годы — под чужой график. Под её график.

Не начинай.

— В двенадцать, — повторила она. — Хорошо. — Пауза. Потом: — Верховский.

— Да.

— Я делаю это для отца. Только для него. Я хочу, чтобы вы это понимали.

— Я понимаю.

— И ещё. — Её голос стал жёстче — острый, как лезвие, которое она каждый день держала в руках. — Это будет контракт. Не брак. Вы получите подпись, фамилию в документах и моё присутствие на публичных мероприятиях, если потребуется. Всё остальное — закрытая территория.

— Всё остальное меня не интересует, — сказал Илья.

И это была ложь.

Он понял, что это ложь, только положив трубку — в ту секунду, когда экран погас и в чёрном стекле телефона отразилось его лицо, и на этом лице, холодном, контролируемом, безупречно выверенном, было выражение, которого он не видел у себя пять лет.

Интерес.

Не деловой. Не стратегический. Не тот сухой, аналитический интерес, с которым он изучал конкурентов и просчитывал риски. Другой — живой, опасный, похожий на первый потрескивающий разряд перед грозой. Интерес к женщине, которая только что согласилась стать его женой, ненавидя каждый звук собственного «да».

Это не входит в план. Это никогда не входило в план.

Илья убрал телефон во внутренний карман пиджака. Откинулся на спинку сиденья. Закрыв глаза — на три секунды, не больше, он позволял себе ровно три секунды слабости в день, не потому что хотел, а потому что тело иногда требовало то, что разум отказывался давать.

За стеклом ползла Москва. Пробка на Садовом разошлась, машина набрала скорость, и фонари за окном слились в сплошную золотую полосу — быструю, яркую, слепящую.

Через два дня я женюсь на незнакомой женщине, которая ненавидит меня, потому что мёртвый отец, которого я не могу ни простить, ни отпустить, поставил мне условие, которое я не могу не выполнить.

Он открыл глаза.

Ладно.

* * *

Контракт был подписан на следующий день — не в двенадцать, а в двенадцать тридцать, потому что у Норы затянулась операция, и она пришла прямо из больницы: в джинсах, свитере, с мокрыми после мытья руками и запахом антисептика, который Илья уловил, когда она села рядом за столом переговоров.

Юрист — Аркадий Семёнович Плетнёв, шестьдесят два года, лысый, в очках с толстой оправой, работавший на Верховских двадцать лет и переживший не один контракт, от которого у обычного человека волосы встали бы дыбом, — зачитывал пункты монотонным голосом, от которого хотелось уснуть, и Илья следил не за текстом — текст он знал наизусть, каждый пункт согласован лично, — а за Норой.

Она слушала. Внимательно, сосредоточенно, с тем выражением абсолютной фокусировки, которое Илья видел у хирургов перед сложной операцией: глаза сужены, губы чуть сжаты, лоб — одна тонкая вертикальная складка между бровями. Она не перебивала. Не задавала вопросов — до тех пор, пока юрист не дошёл до пункта о совместном проживании.

— Стоп. — Её голос разрезал монотонный поток Плетнёва, как скальпель — марлю. — Что значит «совместное проживание по адресу, определяемому стороной А»?

Плетнёв посмотрел на Илью. Илья посмотрел на Нору.

— Это значит, что вы переезжаете ко мне, — сказал он. — Формальный брак предполагает общий адрес. Любая проверка — а она будет, я гарантирую — начнётся с прописки.

— Я не буду жить в вашей квартире.

— Пентхаус. Двести сорок квадратных метров. Три спальни. — Илья произнёс это ровно, без паузы, как перечислял характеристики объекта на совещании с инвесторами. — Вы получаете отдельную комнату, отдельную ванную и ключ, который запирается изнутри. Я не войду без вашего разрешения.

Нора смотрела на него — и в её взгляде, жёстком, тёмном, прожигающем, было что-то, от чего у Ильи сжались пальцы на подлокотнике. Не злость — хотя злость тоже была, постоянный фон, как шум вентиляции в этом здании. Что-то более сложное. Как будто она пыталась решить задачу, условия которой менялись быстрее, чем она успевала считать.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Дальше.

Плетнёв продолжил. Пункт за пунктом: финансовые условия (ежемесячное содержание, которое превышало зарплату Нора в девять раз — Илья видел, как у неё дрогнула челюсть, когда юрист назвал цифру, но она промолчала); обязательства по публичным мероприятиям (не более двух в месяц, по предварительному согласованию, Нора кивнула — коротко, сухо); условия расторжения (через двенадцать месяцев после регистрации, по обоюдному согласию, с полным выполнением финансовых обязательств стороной А); пункт о конфиденциальности (ни одна из сторон не раскрывает условия контракта третьим лицам, штрафные санкции — Нора фыркнула: тихо, почти неслышно, но Илья уловил, и ему стоило усилия не отреагировать); пункт о *физической стороне* — «отсутствие обязательств интимного характера, любые изменения данного пункта — только по обоюдному письменному согласию обеих сторон».

— Это вы придумали? — спросила Нора, когда Плетнёв дочитал этот абзац.

Вопрос был адресован Илье. Он посмотрел на неё.

— Да.

— Зачем?

— Затем, что я хочу, чтобы вы чувствовали себя в безопасности.

Она не ответила. Посмотрела на него — долго, три секунды, четыре, — и отвернулась к юристу. Но складка между бровями разгладилась. На полмиллиметра. Илья заметил.

Прекрати замечать.

Нора подписала контракт в двенадцать пятьдесят семь. Ручка — его, «Монблан», тяжёлая, чёрная, с серебряным зажимом, — выглядела чужеродно в её пальцах: длинных, сильных, с обрезанными ногтями и мозолью на среднем пальце. Она писала быстро, мелким, чётким почерком — не «Савельева», не закорючку, а полную подпись, каждая буква отдельно, как будто хотела убедиться, что имя, которое она отдаёт, записано правильно.

Потом выпрямилась. Положила ручку на стол — аккуратно, параллельно краю, с хирургической точностью. И сказала:

— Когда?

— Послезавтра, — ответил Илья. — ЗАГС на Кутузовском. Без гостей, без церемонии. Расписались — уехали. Вопросы?

— Один. — Она посмотрела ему в глаза. Карие — тёплые от природы, но сейчас жёсткие, как обсидиан. — Кольца?

Илья чуть наклонил голову.

— Будут. Формальность.

— Я не ношу украшений.

— Это не украшение. Это деталь легенды.

Она встала. Стул отъехал — тихий шорох по ковру. Нора стояла перед ним — невысокая, в свитере с закатанными рукавами, с красными следами от хирургических перчаток на запястьях, — и Илья подумал: *она проведёт в этом кресле — моём кресле, моём мире — целый год. И я понятия не имею, что с этим делать.*

— До послезавтра, — сказала Нора. Развернулась. Ушла.

Плетнёв, который за двадцать минут подписания не произнёс ни одного лишнего слова — профессиональная дисциплина, вколотенная годами работы с людьми, рядом с которыми лишние слова стоили дорого, — закрыл папку с контрактом и посмотрел на Илью поверх очков.

— Илья Вячеславович.

— Да, Аркадий Семёнович.

— За двадцать лет я составил для вашей семьи не один десяток контрактов. Включая тот, по которому ваш отец женился на вашей матери.

Илья поднял глаза.

Плетнёв аккуратно поправил очки — единственный нервный жест, который он себе позволял.

— Эта девушка — не ваша мать, — сказал он. И добавил, уже уходя, тихо, почти себе под нос: — И вы, надеюсь, не ваш отец.

Дверь закрылась.

Илья остался один. Контракт лежал на столе — тридцать четыре страницы, две подписи, печать нотариуса. Документ, который превращал незнакомого человека в жену, а жену — в переменную в уравнении, где на одной стороне стоял контрольный пакет, на другой — Холмогоров, а посередине — он сам, Илья Верховский, тридцати двух лет, который только что купил себе брак, потому что не знал другого способа сохранить то, что осталось от семьи, разрушенной человеком, чью фамилию он носил.

Он взял телефон. Набрал Дмитрия.

— Подписала, — сказал он.

— О-о-о, — протянул Дмитрий, и в этом «о» было всё: ирония, тревога, любопытство и та особая братская интонация, которая означала «я думаю, ты идиот, но я с тобой до конца». — И как она?

— Что — как?

— Ну, знаешь. Как тебе? Первое впечатление. Женщина, которая будет носить твою фамилию двенадцать месяцев. Какая она?

Илья помолчал. За окном темнело — январские сумерки съедали Москву, и город загорался, превращаясь в россыпь огней, холодных и далёких, как чужие жизни.

— Она не боится, — сказал он.

Пауза. Дмитрий — впервые за долгое время — не пошутил.

— Это плохо, братишка, — сказал он тихо. — Это очень плохо. Ты знаешь почему?

— Нет.

— Потому что тех, кого ты не можешь напугать, ты начинаешь уважать. А тех, кого уважаешь... — Он не закончил. Не нужно было. — Ладно. Послезавтра, говоришь? Я буду свидетелем.

— Не нужно.

— Я не спрашивал. Костюм какой надевать — тёмный или совсем тёмный?

Илья положил трубку, и на его лице — на долю секунды, которую никто не увидел — появилось то, что при большом воображении можно было бы назвать тенью улыбки.

Потом он снова посмотрел на контракт. На её подпись — мелкую, чёткую, каждая буква отдельно.

Нора Савельева.

Через два дня — *Нора Верховская.*

Он провёл пальцем по бумаге — там, где лежали её буквы, — и убрал руку. Быстро. Как от горячего.

Не начинай. Не начинай. Не начинай.

Москва за окном горела. Холодная, равнодушная, бесконечная. И где-то в ней — в тридцати одном квадратном метре на Бауманской, на скрипучем матрасе, в потёртом мамином пальто — женщина, которая только что продала год своей жизни, чтобы спасти отца.

И Илья Верховский — человек, который пять лет не позволял себе чувствовать, — почему-то не мог перестать об этом думать.

Глава 3

«Чужой дом»

POV: Нора

Нора

ЗАГС на Кутузовском проспекте был красивым — в том казённом, торжественном смысле, в каком бывают красивы все места, предназначенные для ритуалов: высокие потолки,

лепнина, хрустальные люстры, запах свежих цветов и мебельного лака. Нора стояла в коридоре перед дверью зала регистрации и смотрела на свои туфли.

Туфли были чужие. Чёрные, лакированные, на невысоком каблучке — единственные приличные, которые нашлись у соседки по лестничной площадке, Татьяны Михайловны, пенсионерки с тремя кошками и необъяснимой коллекцией обуви сорок первого размера. Нора носила тридцать восьмой. Туфли были подбиты ватой в носках — и всё равно хлопали при каждом шаге, как маленькие аплодисменты.

Аплодисменты на моей собственной казни, — подумала Нора и тут же разозлилась на себя за мелодраму. Это не казнь. Это — сделка. Бизнес-транзакция с побочным эффектом в виде штампа в паспорте и чужой фамилии, которую она будет носить двенадцать месяцев, как носят гипс на сломанной руке: неудобно, раздражает, но необходимо для выздоровления.

Она посмотрела на себя в зеркало напротив — большое, в тяжёлой позолоченной раме, в котором до неё, вероятно, отражались тысячи невест: радостных, взволнованных, плачущих от счастья, поправляющих фату трясущимися пальцами. Нора не была похожа ни на одну из них. Тёмное платье — не белое, ни за что не белое, это было единственное условие, которое она поставила себе: простое, тёмно-синее, до колен, купленное вчера в «Зара» за три тысячи четыреста рублей, последние деньги с карты до зарплаты. Волосы — собраны в привычный хвост, потому что распускать их ради человека, который купил право на её подпись, Нора не собиралась. Макияж — никакого, кроме бальзама для губ, потому что январский ветер ободрал их до трещин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.